

Максимович Желько

АИ, ГОДУНОВ версия 3



Желько Максимович
АИ, Годунов версия 3

«Автор»

2026

Максимович Ж.

АИ, Годунов версия 3 / Ж. Максимович — «Автор», 2026

Октябрь 1600 года. На пятом этаже власти — так советник Иона называет уровень, где вершатся судьбы континентов, — Борис Годунов читает Макиавелли и не спит третью ночь. Страна на грани: два неурожайных года, пустая казна, боярские заговоры. Но Иона приносит царю не утешение — он приносит карту уральских месторождений, которые откроют только через сто лет, и план, который изменит всё. Вместо того чтобы догонять Европу ценой надрыва — путем Петра, усталым костями, — Годунов принимает иное решение. Железный приказ. Машинный двор на Неглинной. Двадцать тысяч рублей сибирским серебром. И главное — сто кузниц, сто зёрен, брошенных в землю: из ста мальчишек один станет гением. Одним из ста оказывается Семён Баженов — сын тульского кузнеца, в тринадцать лет разбиравший пистолетные замки. В двадцать три он изобретёт предохранительный клапан, который Европа создаст лишь через полтора столетия.

© Максимович Ж., 2026

© Автор, 2026

Желько Максимович

АИ, Годунов версия 3

Железный приказ

1. Записка, которой не должно было быть

Октябрьская ночь 1600 года обнимала Кремль сыростью и туманом. Вода прибывала — Москва-река поднялась выше обычного, подтопив нижние слободы, и теперь запах мокрой шерсти, дёгтя и квашеной капусты поднимался к бойницам стен, смешиваясь с дымом сотен печей. Где-то лаяли собаки. Где-то плакал ребёнок. Стрелец у Спасских ворот переминался с ноги на ногу и думал о горячей похлёбке.

На пятом этаже власти — так называл этот уровень сам Иона, и в уме у него была целая топография влияния, где первый этаж занимали уличные торговцы, второй — приказные дьяки, третий — думные дворяне, четвёртый — ближние бояре, а пятый — тот единственный, к кому он шёл теперь со своей запиской — горела всего одна свеча.

Борис Фёдорович Годунов не спал. Он никогда не спал хорошо — слишком много смертей стояло между ним и престолом, слишком много призраков толпилось в углах. Врачи-немцы прописывали ему горячее вино с пряностями и порошок из толчёного рога единорога. Не помогало и вино, а рог единорога был, разумеется, бивнем нарвала — но кто бы сказал об этом царю?

Иона знал. Он много чего знал — и это было его проклятием, его даром и его одиночеством.

Он ждал в приёмной палате уже третий час. Стены здесь были обиты тёмным сукном — не для красоты, а чтобы звуки не гуляли. Секреты должны оставаться секретами. На столе перед ним лежала папка из телячьей кожи — единственный экземпляр, гриф «Ноль», — и в этой папке была мысль, способная изменить судьбу континента.

Иона закрыл глаза и увидел другое время.

Это случалось с ним с детства. Он проваливался в видения, как другие проваливаются в сон, — внезапно, без предупреждения, без возможности контролировать. Иногда он видел прошлое: костры монгольской конницы, горящий Козельск, лица людей, умерших за сто лет до его рождения. Иногда — будущее. И вот это было по-настоящему страшно. Потому что будущее, которое открывалось ему, было будущим несбывшимся, но возможным. Оно зияло, как не затянувшаяся рана, как дверь, которую можно открыть или не открыть, — и от того, что он скажет сегодня, зависело, войдёт ли кто-нибудь в эту дверь.

Он увидел низкое небо над Невой — серое, тяжёлое, проткнутое иглой собора. Он увидел человека с лицом, искажённым яростью и верой, — высокого, с бешеными глазами навывкате, с рукой, сжимающей плотницкий топор. Царь Пётр. Иона знал это имя, хотя человек ещё не родился, не мог родиться — отец его покамест бегал в коротких штанишках по кремлёвским переходам. Пётр рубил головы стрельцам. Пётр тащил Россию за волосы в Европу. Пётр строил

город на костях — и кости эти хрустели под сапогами, и мостовая уходила в трясину, и каждый камень был оплачен жизнью.

А потом Иона увидел заводы. Огромные, дымные, грохочущие. Они вытягивались вдоль Уральского хребта, как цепь каторжников, скованных одной цепью. У каждой домны стояли тысячи людей — полуголых, чёрных от копоти, с глазами, в которых не осталось ничего, кроме усталости. Они лили чугун. Они ковали железо. Они умирали — быстро, нелепо, без счёта, — и на место каждого вставали двое новых крепостных.

Догонять. Надрываться. Убиваться о европейскую фору в двести лет.

А потом — ещё дальше, в веке девятнадцатом, — он увидел железные дороги. Они ползались по телу страны, как вены на руке пьяницы, — но рельсы покупали в Англии, паровозы везли из Франции, инженеров выписывали из Бельгии. Вся эта железная, грохочущая, дымная мощь стояла на иностранном фундаменте. И в каждом кризисе — в Крымскую войну, в японскую кампанию, в четырнадцатом году — фундамент этот давал трещину, потому что строили его не здесь и не для нас.

Иона открыл глаза. Свеча оплыла. Фитиль склонился, как голова казнённого. Он поправил его щепоткой, которую носил в кармане, — маленькие серебряные щипчики, подарок английского купца за какой-то давний совет, — и подумал о том, что видения не лгут. Они показывают то, что случится, если ничего не менять. Они — предупреждение, а не пророчество.

— Заходи, — сказали из-за двери.

Голос был глух и утомлён. Иона поднялся, одёрнул кафтан, взял папку и шагнул в царскую комнату.

2. Человек, который не спал

Борис Годунов сидел у окна. Окно было затянуто слюдой — дорогое, боярское, — и сквозь мутные пластины пробивался лунный свет, дробясь и преломляясь, так что лицо царя казалось разбитым на множество осколков. Лоб — отдельно. Глаза — отдельно. Губы, плотно сжатые, — сами по себе.

На столе перед ним лежали бумаги. Челобитные. Доносы. Отписки воевод. Смета на пороховое зелье. Роспись долгов перед английским двором. И среди всего этого вороха — маленькая, переплетённая в тёмную кожу книга: «О причинах упадка и гибели царств», сочинение некоего Макиавелли, переведённое с итальянского на польский, с польского на литовский, а с литовского на русский кривым почерком какого-то беглого монаха.

Царь читал. Вслух. Не для Ионы — для себя.

— «...и нет для государя опасности большей, чем нежелание видеть опасность вовремя. Ибо беда, замеченная издалека, легко исцеляется, а запущенная становится неизлечимой. Так и с чахоткой: вначале она трудна для распознавания и легка для лечения, а в конце — легка для распознавания и неизлечима...»

Он захлопнул книгу и посмотрел на Иону.

— Ты снова не спал.

Это был не вопрос. Борис Фёдорович знал своего геостратега. Знал его привычку работать по ночам, его странные видения, его манеру смотреть не на собеседника, а куда-то сквозь, словно за плечом стоящего перед ним человека разворачивалась какая-то иная, более важная картина.

— Ты тоже, государь.

— Я не сплю три года, — сказал Годунов ровно, без жалобы. — С тех пор как царевич Дмитрий... — Он осёкся.

Иона знал, о чём он молчит. Угличская трагедия висела в воздухе Кремля, как запах гари после пожара. Следственная комиссия Василия Шуйского установила: царевич играл с ножиком, упал в припадке падучей, зарезался сам. Но мало кто верил этому заключению, и меньше всех — сам Борис. Не потому, что был виновен. А потому, что знал: в политике важна не истина, а то, во что верят люди. Люди же верили в убийство. И эта вера, как медленный яд, уже начинала своё действие.

— Рассказывай, — велел царь.

Иона положил папку на стол — не разворачивая, просто обозначая присутствие документа.

— Ты спрашивал меня, государь, что будет с державой через сто, двести и триста лет. Я думал над этим полгода.

— И?

— И ответ мне не нравится.

Годунов усмехнулся — сухо, одними глазами:

— Хорошее начало для геостратега. Скажи теперь, что ты предлагаешь делать, — и я скажу, сколько это будет стоить.

— Дороже, чем ты думаешь. Но дешевле, чем бездействие.

Иона развернул папку и начал говорить.

3. География как судьба

Он говорил не так, как говорят царедворцы, — не круглыми периодами с цитатами из Писания. Он говорил отрывисто, резко, словно выкладывал на стол камни.

— Смотри. — Он подвинул к царю лист с грубой картой, нарисованной от руки. — Вот Европа. Вот мы. У них — океан. У нас — степь. Корабль перевозит товар в двадцать раз

дешевле телеги и в пятьдесят раз быстрее. Пока мы везём пушнину через Сибирь на собаках и лошадях, голландский купец огибает Африку и возвращается с трюмом пряностей. Это не соревнование. Это разные весовые категории.

— Ты предлагаешь нам стать Голландией?

— Нет. Я предлагаю нам перестать играть в их игру и начать свою.

Иона достал второй лист — набросок той же карты, но с другими акцентами. Реки. Он прочертил их синими линиями: Волга, Кама, Обь, Иртыш, Енисей, Лена. Они текли с юга на север, пронизывая континент, как кровеносные сосуды. И — это было главное — они текли к нам. Не от нас. К нам.

— Европейцы везут шведское железо через Балтику, медь через германские княжества, уголь из Ньюкасла морем. Каждая миля их пути зависит от погоды, пиратов, политики. Наш путь — по рекам. Тихая вода. Дёшево. Круглый год — зимой по льду, летом по воде. И все эти реки сходятся к Уралу.

— Урал — это далеко, — заметил Годунов.

— Это близко. Ближе, чем Америка для испанцев. Ближе, чем Ост-Индия для голландцев. Строгановы уже сидят там. У них солеварни, варницы, остроги. Дай им государственный заказ — и они за десять лет поставят заводы, которые будут лить чугун дешевле английского.

Царь молчал. Смотрел на карту. Переводил взгляд с Волги на Каму, с Камы на Обь, с Оби на пустоту за Уралом — ту белую, неизведанную, пугающую пустоту, которую московские люди называли «Камнем» и боялись, как края земли.

— Ты говоришь о вещах, которые будут стоить миллионов, — сказал он наконец. — А у меня казна пуста. Два неурожайных года. К тому же поляки...

— Поляков, — перебил Иона, и это было дерзостью, за которую другой лишился бы языка, — я беру на себя. То есть не я. Железный приказ.

— Что за приказ?

Иона улыбнулся — тонко, почти незаметно:

— Тот, о котором ты напишешь резолюцию. «Делай». Помнишь?

И Годунов вдруг понял: он это уже написал. Ещё не написал — но напишет. Где-то в будущем, которое ещё не наступило, его рука уже выводила это слово на полях записки. Иона знал. Он всегда знал.

— Расскажи про приказ, — велел царь.

4. Окно на Запад — но не окно, а дверь

Тремя столетиями позже один русский поэт напишет: «В Европу прорубить окно». Он будет иметь в виду Петербург, Неву, шведские болота. Но сейчас, в 1600 году, Иона думал не об окне. Он думал о двери — не прорубленной, а построенной. Двери, через которую в Россию хлынут не шведские ядра, а мозги.

— Европа, — говорил он, меряя шагами царскую комнату, — переполнена умными людьми, которым некуда девать свой ум. Тысячи инженеров, алхимиков, металлургов, фортификаторов, корабелов — они бегают от двора к двору, предлагают свои услуги, просят жалованья, влезают в долги, попадают в тюрьмы за ересь. Итальянец строит крепость французскому королю, француз льёт пушки турецкому султану, турок учит венецианцев делать стекло. Знание бродит по континенту, как молодое вино, — и тот, кто первый поставит для него хороший погреб, снимет сливки.

— Ты предлагаешь покупать людей? — Годунов нахмурился. Торг людьми был ему отвратителен — не из моральных соображений, а из политических. Покупать предателя — значит ждать предательства.

— Нет. Я предлагаю покупать не людей, а их ум. Разница та же, что между покупкой коня и покупкой конюшни. Конь может захромать. Конюшня будет стоять.

— Хорошо. Как?

— Железный приказ. Государственное ведомство с тремя задачами. Первая: искать. Посылать людей во все концы Европы — в Англию, Голландию, германские земли, итальянские княжества, даже в Испанию, хотя католики будут плевать. Искать тех, кто знает толк в паре, металле и механике. Вторая: предлагать. Жалованье вдвое против того, что они получают сейчас. Землю. Чин. Защиту от кредиторов — пусть кредиторы судятся с русским царём, если посмеют. Третья: везти. Не через Польшу, где их перехватят, а через Архангельск, который уже есть, и дальше — реками до Ярославля, до Москвы, до Урала. Везти с семьями, с инструментом, с книгами.

— Книги? — Царь поднял бровь. Он знал, что книги — это опасно. Книги приносят ереси.

— Книги, государь. Потому что без книг они — просто руки. С книгами они — головы. А нам нужны головы.

Годунов встал, подошёл к окну. Слюдяные пластины дрожали под порывами ветра. Где-то на колокольне Ивана Великого ударил колокол — час пополудни.

— Допустим, мы их соберём, — сказал он, не оборачиваясь. — Допустим, они приедут. Допустим, бояре не поднимут мятеж против «латинских чернокнижников». Что дальше? Что они будут делать?

— Строить паровую машину.

Годунов обернулся:

— Что?

5. Пар, который изменит всё

Тремя веками позже школьники будут заучивать: «Паровая машина Ньюкомена была построена в 1712 году. Усовершенствована Уаттом в 1776-м. Положила начало промышленной революции». Они будут зубрить эти даты, как молитву, не задумываясь о том, что даты эти случайны. Что Ньюкомен мог родиться на пятьдесят лет раньше — или на сто лет позже. Что история техники не predetermined. Она — цепь совпадений, удач, прозрений и чьей-то политической воли.

Иона знал это — не из будущего, а из логики. Паровая машина не требует сложной науки. Она требует трёх вещей: топлива, металла и мозгов. Всё это есть уже сейчас.

— Смотри, государь. — Он взял свечу и поднёс к ней ладонь. — Что происходит?

— Ты обожжёшься.

— Я обожгусь. Тепло от огня поднимается вверх. Это знает любая баба, которая ставит горшок в печь. А теперь представь: закрытый котёл с водой. Огонь под ним. Вода кипит. Пар расширяется. Ему некуда деваться. Он давит на стенки. Если сделать так, чтобы он давил на поршень...

Иона замолчал. Он увидел это — не в видении, а внутренним зрением: цилиндр, поршень, шатун, коромысло, маховик. Всё это было просто. Всё это можно было сделать сейчас, в тысяча шестисотом, из уральского железа, на московском пороховом заводе, руками приглашённых мастеров.

— И что будет делать эта машина? — спросил Годунов с интересом человека, который уже начал считать расходы и доходы.

— Первое: качать воду из шахт. У нас серебряные рудники в Сибири. Они заливаются грунтовой водой. Лошадиный привод не справляется. Люди таскают бадьями —дохнут. Машина будет качать воду быстрее сотни людей и не устанет никогда.

— Второе?

— Второе: ковать железо. Не молотом кузнеца, а паровым молотом. Один такой молот заменит пятьдесят кузнецов. И поковка будет ровнее, и металл пойдёт лучшего качества.

— Третье?

— Третье: двигать мехи в домнах. Чем выше температура в печи, тем лучше чугун. Паровой мех даст температуру вдвое выше, чем ручной.

— Четвёртое?

— Четвёртое: то, чего ещё никто не придумал. Паровой корабль. Паровая повозка. Паровой станок для сверления пушек. — Он остановился. — Государь, я не знаю всего, что сделает

пар. Я знаю только, что тот, кто овладеет паром первым, получит меч, против которого бес-
сильны все остальные мечи.

Годунов вернулся к столу. Долго смотрел на карту. Потом спросил — тихо, почти шёпо-
том:

— Ты в это веришь?

— Я это видел, — сказал Иона.

И они оба знали, что он имеет в виду.

6. Видение первое: город на костях

1703 год. Май. Троицкая суббота. Нева, ещё не закованная в гранит, разливается широко
и мутно. По берегам — чёрная грязь, перемешанная со снегом. Чаек нет — слишком холодно.
Вместо чаек — вороны, жирные, наглые, перелетают с кочки на кочку.

Царь Пётр стоит на Заячьем острове. В руках у него — заступ. По широкому, рябому
от оспы лицу текут капли пота — не от работы, от напряжения. Царь болен. У него жар, лихо-
радка, та самая, что через двадцать лет сведёт его в могилу. Но сейчас он не думает о смерти.
Он думает о крепости, которая должна здесь встать.

— Здесь, — говорит он. — Здесь будет город.

Он произносит это по-голландски — он всегда думает по-голландски, когда речь идёт о
строительстве. Hier zal een stad zijn. Рядом Меншиков, Далмат, Головин — свита переминается
в грязи, делает вид, что понимает, хотя никто не понимает. Город? Здесь? На болоте? На краю
земли, где снег лежит до мая, а осенью шторма выбрасывают на берег обломки кораблей?

Но никто не спорит. С Петром не спорят. С Петром можно только соглашаться, и то
осторожно, глядя на его руки — не потянулись ли к топору.

Они начинают копать. Царь — первый. Заступ вонзается в грязь, выворачивает комья
мха, корни, дохлую рыбу. За ним — солдаты. За солдатами — каторжники, согнанные сюда
со всей России. Десятки тысяч. Сотни тысяч — никто не считает, потому что зачем считать
тех, кто всё равно умрёт?

Они умирают быстро. От лихорадки, от дизентерии, от недоедания, от непосильной
работы. Хоронят их тут же — в траншеях, которые должны стать фундаментами будущих
бастионов. Кости смешиваются с камнем. Камень оседает, фундамент трескается, и на трес-
нувший фундамент кладут новый слой камня, а под ним — новые кости.

Так строится Петербург.

В том же 1703 году на Урале начинает дымить Невьянский завод. Демидовы, тульские
кузнецы, получили от царя грамоту на владение рудниками и лесами. Они жгут уголь, плавят
руду, лют чугун. Условия те же: каторжный труд, палки, побег, поимка, кнут, палки снова.

Рабочие мрут — на их место везут новых, приписных крестьян из окрестных деревень, купленных, как скот.

Империя строится на костях. Это не метафора. Это технология.

Пройдёт двести лет, и в учебниках напишут: «Пётр I прорубил окно в Европу». Никто не напишет: «Пётр I заложил традицию технологического рывка ценой человеческой жизни». Никто не скажет: «Этот метод — надрыв, террор, мобилизация — стал матрицей русской модернизации на столетия вперёд. И каждый следующий рывок — сталинская индустриализация, хрущёвский космос, брежневский БАМ — будет построен по тому же лекалу».

Иона видел всё это. Он знал цену. И он предлагал другую цену.

7. Технологический уклад: взгляд из немецкой кузницы

Ганс Мюллер, кузнец из Нюрнберга, не был гением. Он был просто хорошим мастером. Руки у него были в шрамах от окалины, спину ломило к сорока годам, а в голове сидела одна простая мысль, которую он повторял каждому подмастерью: «Железо любит порядок. Железо любит, когда его греют ровно и бьют ровно. Железо не терпит суеты».

Он делал отличные клинки. Его работа ценилась по всей округе — нюрнбергские мечи расходились по германским княжествам, попадали в Польшу, доходили до Ливонии. Он мог бы прожить так до старости и умереть в своей постели, окружённый внуками, если бы не печатный пресс.

Печатный пресс Иоганна Гутенберга умершего за сто с лишним лет до рождения Ганса, изменил всё. Он изменил даже кузнечное дело — потому что теперь чертежи и описания механизмов можно было размножать в сотнях копий, и знание перестало быть тайной цеха.

Ганс увидел чертёж ветряной лесопилки — голландской, с коленчатым валом, превращающим вращение крыльев в возвратно-поступательное движение пилы. Он увидел чертёж водяного молота — тяжёлой чугунной болванки, падающей на наковальню и расплющивающей крицу в ровный лист. И он подумал: а что, если всё это объединить? Что, если построить ветряной кузнечный цех — чтобы ветер качал мехи, ветер поднимал молот, ветер вращал точильные круги?

Он потратил два года на расчёты и модели. Влез в долги. Рассорился с цехом — цеховые старшины терпеть не могли новшеств. И когда он уже почти построил работающий прототип, к нему явился человек в странном кафтане — не немецком, не польском, не французском — и заговорил на ломаном немецком с сильным акцентом.

— Господин Мюллер? Меня зовут Фёдор. Я представляю Железный приказ его царского величества Бориса Фёдоровича, государя всея Руси.

— Кого?

— Русского царя. Вы слышали о Московии?

Ганс слышал. Слышал, что там медведи ходят по улицам, что люди там дикие, борода-тые, что царь их убил своего предшественника и теперь воюет с поляками. В общем, ничего хорошего.

— Мне не о чем говорить с вами, — сказал он. — Уходите.

— Я предлагаю вам жалованье вдвое против вашего нынешнего дохода, — сказал Фёдор, не двигаясь с места. — Землю — сто десятин, хорошей пахотной земли, с крестьянами, кото-рые будут на вас работать. Чин — дворянский, соответствующий примерно нашему окольной-чему. И защиту от кредиторов. Вы кому должны?

— Тысячу гульденов, — угрюмо сказал Ганс.

— Ваш долг будет выплачен казной в день вашего приезда в Москву.

— А если я не поеду?

Фёдор пожал плечами. Он был молод — лет двадцати пяти, не больше, — но держался с уверенностью человека, который знает за собой поддержку огромной силы.

— Тогда я поеду в Аугсбург. Там есть кузнец по имени Клаус Шмидт, который строит водяные молоты. Или в Прагу — там алхимики работают над составом для литья бронзы. Или в Лондон — там один шотландец придумал насос для откачки воды из шахт. Вы, господин Мюллер, хороший мастер. Но вы не единственный.

Ганс вытер руки о фартук. Посмотрел на чертёж своего ветряного молота — незакончен-ный, с пометками, но уже работающий в воображении. Потом на Фёдора.

— Сколько людей вы уже завербовали?

— Тридцать два инженера. Двенадцать металлургов. Восемь литейщиков. Пять порохо-вых мастеров. И одного итальянца, который обещает построить печь, плавящую железо без угля — на каком-то особом масле, которое он называет «горным дёгтем».

— Нефть, — машинально поправил Ганс, который где-то читал про странную горючую жидкость, найденную в Персии. — И что, все эти люди согласились?

— Все. И знаете почему?

Ганс не ответил.

— Потому что Европа не даёт им хода, — продолжал Фёдор, и в его голосе зазвучала странная, почти личная нота. — Цехи давят новшества. Церковь видит в механике ересь. Дворы интригуют, и сегодня ты строишь фонтан для короля, а завтра сидишь в долговой яме, потому что королю разонравился твой покровитель. Московия — другое. Она молодая. Она жаждет учиться. Ей нужны люди, которые умеют делать то, чего никто не умеет.

Ганс молчал минуту. Две. Три. Потом сказал:

— Мне нужно взять с собой семью. Жену, троих детей. И подмастерьев — четверых.

— Все поедут за казённый счёт.

— И инструмент.

— Разумеется.

— И книги. У меня сорок три книги, в основном по металлургии. Некоторые запрещены церковью.

— Мы не ввозим запрещённых книг, — сказал Фёдор, но подмигнул при этом, и Ганс понял, что книги ввезут. Тайно. Как ввозят всё в Московию — через Архангельск, в бочках с сельдью.

Так Ганс Мюллер, кузнец из Нюрнберга, стал Иваном Фёдоровичем Миллером, русским дворянином и первым мастером Железного приказа.

А его ветряной молот через три года заработал на реке Каме, приводя в движение не только кузнечные мехи, но и лесопилку, и камнедробилку, и токарный станок для обточки пушечных стволов. Идея объединения механизмов в единую систему, осенившая немецкого кузнеца в 1601 году, оказалась тем самым принципом, который триста лет спустя назовут «технологическим укладом».

8. Политическая воля: чего стоило решение

Решение далось Годунову не сразу. Он думал три дня. Три дня не выходил из своей комнаты. Три дня не принимал послов, не подписывал указов, не отвечал на челобитные. Бояре терялись в догадках. Шептались: «Государь занемог», «Государь молится», «Государь колдует с этим странным монахом Ионой».

На четвёртый день он вызвал дьяка Посольского приказа Афанасия Власьева — умного, желчного, говорящего на пяти языках — и велел ему готовить трактат.

— Какой трактат? — не понял Власьев.

— «О приглашении иностранных мастеров на государеву службу». Трактат должен быть переведён на латынь, немецкий, голландский и английский. И в каждом переводе должны быть тонкости, понятные именно этому народу.

— Какие тонкости?

— Немцам ты напишешь: «Россия есть земля, где мастер ценится выше родовитости». Это польстит бюргерской гордости. Голландцам: «Россия предлагает свободу от цеховых ограничений и доступ к лесным и рудным богатствам неограниченной щедрости». Англичанам: «Царь гарантирует неприкосновенность капитала и защиту от кредиторов». Каждому — своё.

Власьев записал. Потом поднял глаза:

— Государь, это будет стоить... я не знаю сколько, но очень дорого. Где брать деньги?

— Серебро, — коротко ответил Годунов.

— Сибирское?

— Сибирское. И ещё: обложить монастыри. У Троице-Сергиевой лавры земель больше, чем у иного германского князя, а казне от этого ни копейки.

— Монастыри? — Власьев побледнел. — Государь, церковь...

— Церковь, — перебил Годунов, — молится о спасении души. А спасение державы — это моё дело. Всё. Пиши трактат.

Трактат был готов через месяц. Он получился на удивление изящным — Власьев был талантлив, несмотря на желчность. Латинский текст изобиловал античными аллюзиями. Немецкий — техническими подробностями. Английский — ссылками на прецеденты из истории британской короны. И весь этот многоязычный хор выводил одну простую мысль: «Приезжайте в Россию. Здесь вы будете жить, как не живут короли в ваших отечествах. Здесь ваш ум оценят. Здесь ваши руки создадут то, чего ещё не видел свет».

И они поехали.

9. Те, кто приехал

Йост ван ден Брук, голландский гидротехник, бежавший из Амстердама после того, как его обвинили в ереси (он публично усомнился в исчислении возраста Земли по Библии). Приехал через Архангельск в 1602 году. Построил систему каналов и шлюзов на Каме, обеспечив круглогодичный сплав руды с Урала. Через пять лет получил дворянство.

Пьетро Сальвиати, итальянец из Флоренции, ученик Галилея. Специалист по линзам и оптике. Бежал от инквизиции, прихватив с собой шлифовальный станок и несколько запрещённых манускриптов по оптике. Приехал в Москву в 1604 году. Через два года построил первую в России подзорную трубу с четырёхкратным увеличением. Ещё через год — оптический прицел для пушек собственной конструкции. Годунов лично присутствовал на испытаниях и, глядя в окуляр, сказал: «Теперь я вижу поляков раньше, чем они видят меня».

Франсуа Лежандр, французский металлург из Лиона. Специализировался на тигельной плавке — методе, позволявшем получать сталь исключительной чистоты. Приехал в 1603 году, получил в распоряжение уральский рудник и через три года выдал первую партию тигельной стали, не уступавшей знаменитой дамасской. Русские сабли из этой стали рубили европейские доспехи, как масло.

Томас Блейк, англичанин, ученик знаменитого Джона Ди. Специалист по пороховым смесям. Приехал в 1605 году. Модернизировал Пушечный двор, ввёл стандартизацию пороховых зарядов — до него каждый пушкарь мешал порох на глаз. После него точность стрельбы русской артиллерии выросла вдвое.

Этих людей было немного — на первых порах всего человек сорок. Но каждый был гением в своём деле. И каждый чувствовал одно и то же: здесь, в России, на них смотрели не как на чудаков, не как на еретиков, не как на опасных умников, а как на сокровище. Здесь, впервые в жизни, они были нужны.

И это ощущение нужности стоило дороже любого жалования.

10. Видение второе: альтернативный 1654 год

А теперь — представьте.

1654 год, ровно полвека после основания Железного приказа. Богдан Хмельницкий поднимает казаков против польской короны. Восстание перерастает в русско-польскую войну. Но в этой версии истории у России есть нечто, чего не было в реальности.

Уральские заводы, построенные приглашёнными мастерами, выдают двести пушек в год — нарезных, с оптическими прицелами, с унифицированным калибром и стандартным зарядом. Польская артиллерия стреляет чугунными ядрами на триста шагов — русская бьёт прицельно на пятьсот, а отдельные орудия Сальвиати — на семьсот.

Под Смоленском русская армия применяет новое построение: пехота с облегчёнными мушкетами (уральская сталь позволила уменьшить вес ствола без потери прочности), конница с карабинами (до этого русская конница полагалась на сабли и луки), артиллерийский резерв, выдвигаемый на ключевые участки по системе каналов и волоков, построенных по проектам ван ден Брука. Снабжение идёт реками — быстро, дёшево, без обозов, которые вязнут в грязи. Почтовые станции, расставленные через каждые тридцать вёрст, передают депеши со скоростью, невиданной для Европы.

Польская армия разбита не числом — у поляков примерно равные силы, — а скоростью. Скоростью манёвра, скоростью стрельбы, скоростью принятия решений. Гетман Потоцкий, взятый в плен, спрашивает русского воеводу: «Откуда у вас эти пушки?» Воевода пожимает плечами: «С Урала. А что, у вас нет Урала?»

В 1656 году подписывается мир. Условия не унижительные — русские не хотят мстить, они хотят торговать. Польша признаёт присоединение Левобережной Украины. Но главное — Польша открывает рынок для русских товаров. Не пушнины и воска, как прежде, а готовых изделий: пушек, мушкетов, инструмента, листового железа, проволоки, гвоздей.

Россия становится промышленным экспортёром на сто пятьдесят лет раньше, чем это случилось в реальной истории. А промышленный экспортёр — это страна, которая диктует условия, а не принимает их.

11. Сибирская кровь земли

Зимой 1603 года на реке Сылве, притоке Чусовой, крестьянин деревни Торговище наткнулся на странный чёрный камень. Камень был лёгкий, слоистый, мазал руки чёрным и, брошенный в печь, горел жарче дров. Крестьянин не знал, что это такое. Он отнёс находку воеводе, воевода отослал в Москву, в Москве камень попал к Блейку-пороховщику, и тот, осмотр-

рев его, вынес вердикт: «Это то же, что мы в Англии зовём sea-coal. Морской уголь. Он горит вдвое жарче древесного и втрое дольше».

Иона, узнав об этом, немедленно потребовал организовать разведку. Через год на Сылве заработала первая угольная копь. Ещё через два года — на Кизеле. Сибирский уголь пошёл по рекам на уральские заводы, и в домнах загудело пламя такой температуры, какой не могли достичь европейские мастера, сидевшие на древесном угле.

Это было преимущество, которого никто не ожидал. Европа выжигала леса под домны — в Англии уже начинался дефицит древесины, и парламент принимал законы об ограничении выплавки железа. Россия сидела на угле, как на подушке.

Потом нашли руду. Магнитную, с содержанием железа до шестидесяти процентов. Гора Высокая. Гора Благодать. Целые хребты железа, выходящие на поверхность. «Мы не копаем руду, — писал один из мастеров Лежандру, — мы просто собираем её с земли, как грибы».

География работала на Россию. Европе нужно было везти руду и уголь морем, с пиратами, штормами и пошлинами. Россия везла всё это вниз по течению — от Уральского хребта к Москве, к Ярославлю, к Архангельску. Реки были дармовыми транспортными артериями. Зимой они превращались в ледяные дороги, по которым сани везли грузы быстрее, чем телеги летом. Страна, которую вечно попрекали бездорожьём, вдруг оказалась страной идеальной транспортной сети — только сеть эта была водной и ледяной, а не каменной.

12. Сопротивление

Бояре взбунтовались не сразу. Первые два года они присматривались. Им было любопытно — что за людей везёт царь из Европы? Не опасно ли это? Не привезут ли они католическую ересь?

Но когда на Каме задымили первые домны, а в Москве появились люди с голландскими именами, получавшие дворянство и земли, — бояре заволновались. Дворянство было их монополией. Земли были их монополией. Доступ к государю был их монополией. А теперь какие-то безродные иноземцы влезали во все три монополии сразу.

Князь Василий Шуйский, тот самый, что расследовал угличское дело, пришёл к царю с челобитной от имени двадцати трёх думных бояр.

— Государь, — сказал он, и в голосе его звенела искренняя обида, — мы, Рюриковичи, Гедиминовичи, древние роды, служили престолу веками. Теперь ты ставишь над нами немцев и голландцев. Они получают земли, которые мы кровью заслужили. Они получают чины, которые наши предки жизнями оплатили. Это несправедно.

Годунов выслушал его спокойно. Потом спросил:

— Твой род, Василий Иванович, знатен и древен. Что произвёл твой род за последние сто лет, кроме челобитных?

Шуйский побагровел.

— Мы управляли государством! Мы водили полки! Мы сидели в Думе!

— Вы управляли. Вы водили. Вы сидели. — Царь говорил тихо, почти ласково, и это было страшнее крика. — А эти люди, которых ты называешь безродными, произвели сорок три новые пушки. Построили три домны. Сплавляли десять тысяч пудов стали. Они не сидят — они делают. И пока я вижу эту разницу, дворянство будет получать тот, кто делает, а не тот, чей прадед делал что-то при Иване Третьем.

Шуйский вышел молча. Но с этого дня заговор против «иноземного засилья» начал обретать форму.

13. Видение третье: заговор и чума

Лето 1604 года. Москва задыхается в жаре. Третий месяц ни капли дождя. Река обмелела, обнажив вонючее дно. По базарам поползли слухи: «Царь продан латинянам», «Царь пустил в Кремль чернокнижников», «Царь молится не Богу, а машинам».

Слухи распускали люди Шуйских. У них было золото, было влияние, была разветвлённая сеть осведомителей. И была цель: свалить Годунова, пока он не превратил Россию в филиал Европы.

Заговор созрел к сентябрю. План был прост: поджечь Немецкую слободу, перебить иноземных мастеров, а затем предъявить царю ультиматум — отменить Железный приказ, выслать всех иностранцев, вернуть старые порядки. Если царь откажется — поднять стрельцов.

Но заговор провалился. Причина была проста до обидного: один из подмастерьев Ганса Мюллера, русский парень по имени Фрол, подслушал разговор заговорщиков в кабаке и донёс.

В ночь на двадцатое сентября стрельцы, верные Годунову, взяли под стражу семь бояр, включая самого Василия Шуйского. Их судили скорым судом. Шуйского отправили в ссылку на Белоозеро. Остальных — кого в монастырь, кого на плаху.

Борис Фёдорович, подписывая приговор, сказал фразу, которую потом повторяли как поговорку: «Сталь не спрашивает у железа, хочет ли оно становиться сталью».

Чуме, пришедшую в том же году, никто не ожидал. Она приползла через западные границы — сначала Смоленск, потом Вязьма, потом Можайск. Чёрная смерть, бубонная, опустошала целые деревни. В Москве ввели карантин. Заставы перекрыли. Царь уехал в Троицкий монастырь.

Иона остался в Москве. Он знал, что умрёт, — видения не оставляли сомнений. Но он знал и другое: чума была в обеих версиях будущего. В той, где Железный приказ существует, и в той, где его нет. Это была неизбежность, через которую предстояло пройти.

Он умер в октябре 1604 года, на руках у врача Пьетро Сальвиати, который до последнего пытался спасти его примочками и кровопусканием. Последними словами Ионы были:

— Пар. Не забудьте про пар.

Сальвиати не забыл.

14. Цена эволюции против цены надрыва

Сравним.

В реальной истории Россия догоняла Европу рывками. Каждый рывок оплачивался смертью. Пётр положил двести тысяч душ на строительство Петербурга. Сталин положил миллионы на индустриализацию. Каждый раз страна надрывалась, достигала цели, падала без сил — и к следующему рывку отставала снова, потому что пока она отдыхала, Европа уходила вперёд.

В альтернативной истории — той, которую предлагал Иона, — рывка не было. Была эволюция. Медленная, постепенная, не дающая быстрых побед, но и не требующая надрыва. Не сто пушек за год ценой пяти тысяч жизней, а пятьдесят пушек за два года ценой ста жизней. Не крепостной труд, а вольнонаёмный. Не приписные крестьяне, а сибирские хлебопашцы — собственники с мотивацией работать.

Разница была не в конечной точке, а в траектории. В одном случае траектория шла через трупы. В другом — через постепенное накопление силы.

Но была одна проблема: у эволюции нет драматургии. Она не даёт поводов для героических поэм. Никто не напишет оду о том, как в 1605 году на Каме запустили четвёртую домну, и она проработала без аварий три года. Никто не воспоёт в стихах налоговую реформу, вводившую прогрессивное обложение монастырских земель. Никто не поставит памятник Фёдору-вербовщику, который привёз из Европы сорокового мастера и тем самым закрыл кадровую потребность Пушечного двора.

Люди любят героев. А героика — почти всегда надрыв.

Иона понимал это. И всё равно предлагал эволюцию. Потому что, как он однажды написал, «государство — не поэма, а дом. Дом строят не герои, а каменщики. И чем тише они работают, тем лучше дом».

15. Масштабирование: заводы, реки, люди

К 1620 году — двадцать лет после основания Железного приказа — система выглядела так.

На Урале работали четырнадцать заводов. Они делились на три группы: железоделательные (домны, кричные цеха, прокатные станы), медеплавильные и оружейные (сверление, обточка, калибровка пушечных стволов). Заводы были расставлены вдоль рек — Чусовой, Камы, Сылвы — на расстоянии дневного сплава друг от друга. Сырьё шло по воде, готовые изделия — тоже.

Каждый завод имел школу. Школа готовила мастеров из местных крестьян — не крепостных, а вольнонаёмных, получивших от казны ссуду на переезд и подъёмные. Срок обучения — четыре года, из них два — практика в цехе. Лучших учеников отправляли в Москву, в Инженерную палату (бывший Пушечный двор, расширенный и модернизированный), где они ещё два года учились у приглашённых европейцев.

К 1620 году в системе работало около трёх тысяч человек. Из них примерно двести — европейцы (мастера и их семьи), остальные — русские. Текучка была низкой: условия труда были тяжёлыми, но не каторжными. Смертность на производстве — примерно втрое ниже, чем на европейских мануфактурах того же периода.

Финансирование шло из трёх источников. Первый — сибирское серебро (налоги с ясачных людей, пушной оброк, государственная монополия на соль). Второй — монастырский налог (церковь отчисляла десятую часть доходов в казну на «дело государево»). Третий — доходы самих заводов (продажа пушек, ружей, инструмента, листового железа на внутреннем рынке и за границу).

К 1620 году заводы вышли на самоокупаемость. Государство больше не вкладывало в них деньги — заводы сами кормили себя и давали прибыль. А прибыль шла в казну и вкладывалась в новые заводы.

Это был тот самый цикл самоподдерживающегося роста, которого Россия в реальной истории не знала до конца XIX века, а в альтернативной — достигла за одно поколение.

16. Видение четвёртое: XX век, которого не было

Иногда Ионе снился XX век. Вернее, два XX века одновременно — как два изображения, наложенные одно на другое.

В первом — поезда, идущие через Сибирь. Составы, гружённые лесом, нефтью, углём, рудой. Всё это идёт на восток — в Китай, в Корею, в Японию. Россия — сырьевой придаток, заправочная станция для азиатских экономик. Газеты пишут о «ресурсном проклятии». Аналитики спорят, сколько ещё продержатся цены на нефть.

Во втором — те же поезда, но везут они другое. Станки. Приборы. Медицинское оборудование. Программное обеспечение в контейнерах с климат-контролем. Россия — технологическая держава, удерживающая паритет с Америкой и Европой не за счёт ядерных ракет, а за счёт патентов. В газетах пишут: «Российская компания выиграла тендер на строительство термоядерного реактора во Франции». «Российские инженеры запустили первую линию квантовой связи».

Иона просыпался в холодном поту. Он не знал, какое из этих будущих сбудется. Он знал только, что оба возможны — и выбор между ними происходит сейчас, в октябре 1600 года, в комнате царя Бориса, где горит одна свеча и пахнет воском и сыростью.

17. Наследие

Борис Годунов умер в апреле 1605 года. Это случилось в обеих версиях истории — и в реальной, и в альтернативной. Инсульт или инфаркт — тогдашняя медицина не умела ни диагностировать, ни лечить. Он умер, не дожив до победы над Лжедмитрием, которая произошла через год. Он умер, не увидев, как заработает последняя из запланированных Ионой домен. Он умер, оставив страну на пороге Смуты.

Но в альтернативной версии всё пошло иначе.

Потому что к 1605 году Железный приказ существовал уже пять лет. Заводы работали. Мастера были на месте. Система действовала. И когда Смута всё-таки разразилась — а она разразилась, потому что династический кризис никуда не делся, — у России было нечто, чего у неё не было в реальной истории: экономическая база, независимая от царской власти.

Заводы на Урале не закрылись, когда в Москве менялись цари. Мастера не разбежались. Производство не остановилось. Оно работало, потому что было нужно всем: и Годуновым, и самозванцам, и Шуйским, и будущим Романовым. Пушки требовались любой власти. Сталь требовалась любой власти. Деньги от продажи оружия требовались любой власти.

И когда в 1613 году Земский собор избрал Михаила Романова на царство, в его распоряжении оказалась промышленная база, которой не было ни у одного из его современников. Страна прошла через хаос Смуты, не потеряв свой технологический потенциал.

Это и было главное наследие Ионы. Не пушки, не домны, не паровая машина. А понимание простой вещи: государство — это не царь. Государство — это система, которая работает при любом царе. И чем крепче система, тем меньше значит личность.

18. Заключение: геостратегия долгого времени

Иона не оставил после себя ни книг, ни трактатов, ни учеников. Только одну-единственную записку, которая чудом уцелела в пожаре Смутного времени и была найдена двести лет спустя, при разборе архива Посольского приказа. Нашедший её чиновник покрутил пожелтевший лист в руках, прочитал про паровую машину и отложил в сторону: «Фантазии. Тогда и пороха-то толком не знали».

Но суть была не в паровой машине. Суть была в методе.

В реальной истории Россия почти всегда выбирала догоняющее развитие — и почти всегда опаздывала. Сначала — отставание от Европы на двести лет. Потом — отставание от Запада на полпоколения в ядерной гонке. Потом — хроническое технологическое запаздывание, которое маскировалось импортом технологий.

Иона предлагал иное: не догонять, а обгонять. Не воровать изобретения, а создавать их. Не покупать станки, а изобретать станки. Не ждать, пока европейцы построят паровую машину, а построить её первыми.

Это и есть геостратегия долгого времени — думать не о завтрашней войне, а о том, какой будет твоя страна через двести лет. Какие заводы будут стоять на её реках. Какие книги будут читать её дети. Какие поезда повезут её товары — на восток или на запад.

Иона думал об этом. Он не знал слова «геостратегия» — оно появится через триста лет, уже в XX веке. Но он знал его смысл. И, умирая от чумы в октябре 1604 года, он был спокоен — потому что, в отличие от своего государя, он видел будущее. И в этом будущем его страна стояла твёрдо.

На паровом молоте.

На уральской стали.

На сибирском угле.

На реках, которые текут к ней, а не от неё.

Эпилог мог бы быть таким. 1700 год. Нарвская битва. В реальной истории русская армия потерпела сокрушительное поражение от шведов — и это поражение заставило Петра начать реформы.

В альтернативной истории под Нарвой русская артиллерия — уральские пушки Сальвиати, порох Блейка, сталь Лежандра — выкашивает шведские батальоны на дистанции, с которой шведы не могут ответить. Карл XII, раненный осколком, отступает. Война заканчивается через год — не на двадцать лет.

Пётр не строит Петербург на костях. Он строит его на стали. И город на Неве вырастает не как памятник надрыву, а как памятник эволюции — долгой, медленной, незаметной, но неостановимой.

Впрочем, это уже совсем другая история.

Протокол

1. Бумага, которая тяжелее железа

Лист был плотный, сероватый, с водяными знаками — голландскими, потому что своей бумаги Россия ещё не делала в достатке. Чернила — отвар чернильных орешков с купоросом, рецепт Посольского приказа; сохли долго, пахли кислым. Почерк думного дьяка Ивана Тимофеева был сух, уборист, без наклона. Буквы стояли, как солдаты в строю — ровно, тесно, каждая на своём месте. Переписчик знал цену этому документу.

Двенадцатое декабря 1600 года, вторник. За окнами Посольского приказа мело. Снег забивался в щели ставень, ложился на подоконники тонкой белой пылью. В палате горели три свечи — роскошь по тем временам: обычно жгли лучину. Но сегодня экономить не полагалось. Сегодня рождалось ведомство, равного которому не знала московская приказная система с самого своего возникновения при Иване Третьем.

Тимофеев дописывал последний пункт. Рука не дрожала — он был опытен, навидался всякого. Но где-то под ложечкой холодило: он понимал, что этот документ означает. Двадцать тысяч рублей серебром единовременно и десять тысяч ежегодно впредь. Право выкупа иноземцев из долгов за казённый счёт. Право строить заводы без оглядки на местных воевод. Право вести переписку с послами напрямую, минуя Посольский приказ.

Такого властного ресурса не имело ни одно ведомство московской короны.

Перебелить указ поручили подъячему Семёну Сытину — лучшему каллиграфу приказа. Сытин, молодой, лет двадцати семи, с белыми ресницами и вечно испачканными чернилами пальцами, принял черновик с поклоном. Он ещё не понимал, что держит в руках. Никто не понимал.

Тимофеев вышел в сени — подышать. В сенях было холодно, зато тихо. Прислонился к брёвнам стены, закрыл глаза, и перед внутренним взором его встало странное видение — не то сон, не то память о ещё не случившемся.

Он увидел огромную сводчатую залу, залитую электрическим светом. Ровные ряды столов. За каждым столом — человек в мундире, склонившийся над бумагами. На стенах — карты в масштабе один к десяти тысячам. На столах — аппараты с клавишами, похожие на печатные прессы без валиков. Люди стучат по клавишам, и на маленьких стеклянных экранах бегут буквы — быстрее, чем самая скорая скоропись.

«Что это?» — хотел спросить Тимофеев, но не успел.

Видение сменилось другим. Та же зала — но разгромленная. Стекла экранов разбиты. Бумаги горят в мусорных корзинах. На столах — пустые бутылки, следы поспешного бегства. И на каждом столе — один и тот же документ с грифом «Ноль». Приказ о расформировании. Дата — февраль девяносто второго. Века Тимофеев не разобрал — римские цифры расплывались, как чернила под дождём.

Он тряхнул головой, отгоняя наваждение. Перекрестился. Вернулся в палату.

2. Серебро: арифметика невозможного

Двадцать тысяч рублей. Чтобы понять масштаб, нужно знать контекст.

Годовой бюджет Посольского приказа — главного внешнеполитического ведомства страны — составлял около девяти тысяч рублей. Содержание всего стрелецкого войска — около тридцати пяти тысяч. Постройка одного каменного храма в Москве — от трёхсот до тысячи. Добрый боевой конь стоил пять рублей. Деревня в двадцать дворов — рублей сорок.

Двадцать тысяч — это годовой бюджет небольшого европейского княжества.

Годунов нашёл их в сибирской казне. Сибирская казна была его личным изобретением — отдельный фонд, не подотчётный ни Боярской думе, ни Дворцовому приказу. Деньги поступали от ясачного сбора (пушной оброк с сибирских народов), от казённой соляной монополии и от таможенных пошлин на восточных границах. В обычные годы эти деньги шли на чрезвычайные нужды — войну, голод, подкуп крымских мурз. Теперь они шли на паровые машины.

— Ты понимаешь, — сказал Годунов Ионе накануне, — что, если ничего не выйдет, меня засмеют. Царь, который верит в паровые котлы, — это шут, государь-скоморох. Бояре и так считают меня выскочкой, татарским прихвостнем, полукровкой. А теперь скажут: он ещё и безумец.

— Если выйдет, — ответил Иона, — тебя назовут основателем новой династии.

— Я уже основатель новой династии.

— Тогда основателем новой эпохи.

Годунов помолчал. Потом усмехнулся — криво, невесело:

— Эпохи. Ты хоть знаешь, что для этого нужно?

— Знаю, — сказал Иона. — Политическая воля. Деньги. Время. И люди.

Деньги у Годунова были. Политическая воля тоже — пока. Время... времени было в обрез. А с людьми предстояло разбираться.

3. Кадры: кого поставить у руля

Иван Тимофеев не был очевидным выбором. Думный дьяк с двадцатилетним стажем, специалист по дипломатической переписке, автор нескольких трактатов о государственном устройстве, он считался человеком осторожным, даже медлительным. В Посольском приказе его звали «черепахой» — он мог неделями обдумывать формулировку одного параграфа в договоре. Но Годунов ценил его именно за это.

— Ты знаешь, почему я ставлю тебя, а не кого-то из бояр? — спросил царь, когда вызвал Тимофеева для разговора.

— Догадываюсь, государь. Бояре будут вставлять палки в колёса. А я — дьяк, человек служилый, у меня нет земель, нет своей партии, нет амбиций выше тех, что ты мне дашь.

— Верно. И ещё одно. Я читал твоё сочинение «О государеве деле». Ты там пишешь: «Невелик тот государь, что правит людьми; велик тот, что правит обстоятельствами». Я хочу править обстоятельствами. Ты мне в этом поможешь.

Сочинение Тимофеева — небольшой манускрипт страниц на сорок — действительно существовало. Царь действительно читал его. И цитата была подлинной — хотя Тимофеев, услышав её из царских уст, едва не поперхнулся: он и не думал, что Годунов читает что-то помимо челобитных и доносов.

Вторым человеком — без должности, без чина, без жалованья, просто «советником» — становился Иона. О нём не писали в указах. Его имя не значилось в разрядных книгах. Когда иностранные послы спрашивали: «Кто такой этот Иона, с которым мы должны согласовывать приглашение мастеров?», — им отвечали: «Советник государя по особым делам». И переводили разговор на другое.

Иону это устраивало. Он не любил публичности. Он любил результат.

Третьим — и это был компромисс, на который пришлось пойти, — назначался окольный Семён Сабуров. Сабуровы были в родстве с Годуновыми (сестра царя была замужем за Сабуровым), и это делало фигуру Семёна Никитича приемлемой для боярской среды. Он должен был стать «лицом приказа» — присутствовать на церемониях, принимать челобитные, улаживать конфликты с церковью. Реальной власти у него было немного. Но имя значилось в указе, и это давало приказу легитимность в глазах родовой знати.

Сабуров, человек неглупый и хорошо понимавший свою декоративную роль, отнёсся к назначению философски. «Меня поставили, как ставят икону в красном углу, — сказал он жене. — Не молятся, но кланяются».

4. Машинный двор: первые чертежи

Место для Машинного двора выбрали на реке Неглинной, сразу за стенами Кремля. Неглинная в те времена была речкой быстрой, капризной, с илистыми берегами, застроенными кузницами, кожевенными мастерскими и банями. Воняло там так, что окрестные жители на ветреную погоду закрывали ставни.

Но для Машинного двора это было идеально. Вода — движущая сила. Уединение — не будут соваться любопытные. Близость к Кремлю — хорошо для снабжения и охраны.

Строить начали с весны 1601 года. Вернее, не строить — приспособливать. Выкупили три старые кузницы, снесли перегородки, объединили в одно пространство, поставили новые горны с поддувалами, подвели воду от Неглинной по дубовым желобам, заказали у уральских мастеров большой водяной молот — двенадцать пудов чугуна, падающего с высоты в сажень.

Всё это стоило ещё три тысячи рублей.

— Грабите казну, — процедил казначей Никита Романов, когда ему принесли смету.

— Это не грабёж, Никита Иванович, — ответил Тимофеев спокойно. — Это инвестиция.

— Чего?

Слово было новым, чужим, латинским. Тимофеев вычитал его у какого-то флорентийского купца и теперь вворачивал при каждом случае. Оно нравилось ему — точное, холодное, без благочестивой шелухи. Инвестиция. Вложение, которое вернётся сторицей.

Романов только сплюнул и подписал.

На самом деле Тимофеев блефовал. Он понятия не имел, вернутся ли вложения. Никто не имел. Вся эта затея — паровые котлы, водяные молоты, приглашённые иноземцы — была шагом в темноту. Единственным, кто, казалось, знал, куда идти, был Иона. Но Иона не мог объяснить, откуда он это знает. Или не хотел.

Однажды Тимофеев спросил его напрямую — поздно вечером, после многочасового совещания о найме английского литейщика:

— Иона... как ты это делаешь? Я не про молоты. Я про то, что ты знаешь. Ты знаешь, кто из мастеров согласится, а кто — нет. Ты знаешь, какая руда лучше пойдёт в плавку. Ты предсказал, что Сальвиати приедет через Архангельск, хотя я ставил на Новгородский тракт. Откуда?

Иона долго молчал. Пламя свечи дрожало на сквозняке. За стенами приказа выла метель — декабрь в Москве был лют.

— Я вижу, — сказал он наконец. — Не всё. Не всегда. Но иногда — вижу.

— Что именно?

— Последствия. Если мы сделаем так — случится одно. Если иначе — другое. Я вижу оба варианта. И выбираю тот, в котором мы не проигрываем.

— Ты хочешь сказать... ты пророк?

Иона покачал головой:

— Нет. Пророки говорят о том, что будет. А я говорю о том, что может быть. Разница существенная.

Тимофеев не стал расспрашивать дальше. Он был человеком практическим и предпочитал оценивать людей по результатам, а не по объяснениям. Результаты же у Ионы были.

5. Видение первое: год 1917-й, Наркомат

Зал заседаний. Длинный стол, крытый красным сукном. За столом — люди в кожаных куртках, с усталыми, небритыми лицами. Накурено так, что лампы под потолком плавают в сизой дымке, как луны в облаках. За окнами — Петроград, ноябрь семнадцатого, серый, ветреный, с очередями за хлебом и выстрелами на окраинах.

На столе — документ. «Декрет о создании ВСНХ» (Высшего совета народного хозяйства). Первый пункт: «Для организации и регулирования всей промышленности, как национализированной, так и частной, учреждается...»

Тимофеев — или тот, кто видел этот сон его глазами, — не понимал половины слов. «Национализация», «регулирование», «совет», «комиссариат». Но суть угадывал безошибочно. Через триста лет после Железного приказа другая власть, в другом веке, при других обстоятельствах создавала то же самое: ведомство, которое должно собрать в кулак промышленность страны и рвануть вперёд.

Вокруг стола шёл спор. До хрипоты, до стука кулаками. Один доказывал: «Нужен жёсткий план, дисциплина, военное положение на заводах». Другой возражал: «Планом людей не заставишь — нужен интерес, кооперация, хозрасчёт». Третий предлагал пригласить немецких инженеров. Четвёртый — расстреливать саботажников.

Тимофеев слушал и узнавал.

Те же споры, что шли сейчас, в 1600 году. Кнут или пряник? План или инициатива? Иностранцы или свои? Только масштаб — в сотни раз больше. Заводов не четырнадцать, а тысячи. Рабочих не три тысячи, а миллионы. И ставка — не пушки для войны с Польшей, а мировая революция.

Видение погасло. Тимофеев остался в темноте. И голос — кажется, Ионы — произнёс откуда-то из глубины этой темноты: «Они создали то же самое. И провалились. Не потому, что идея плоха. А потому, что строили на крови. Мы построим иначе».

6. Параграф четвёртый: о мастерах

Этот параграф указа Тимофеев писал особенно тщательно. Он знал: от того, как будет поставлено дело вербовки, зависит всё остальное. Можно построить заводы, завезти руду, проложить дороги — но, если на заводы некому встать, всё пойдёт прахом.

Иноземные мастера в Москве к 1600 году были не в диковинку. Ещё Иван Грозный выписывал немцев, ливонцев, шотландцев. В Немецкой слободе на Яузе жило несколько сотен иностранцев — лекари, аптекари, оружейники, толмачи, купцы. Но это были одиночки, приехавшие сами, а не организованный поток.

Иона предлагал другое: не ждать, пока приедут, — ехать и вербовать.

Каждый посол, каждый гонец, каждый торговый агент за рубежом отныне получал дополнительную инструкцию. К основному поручению — заключить договор, передать грамоту, закупить товар — добавлялось новое: «Выискивать мастеров». Посол в Лондоне должен был искать корабелов и насосных дел мастеров. Посол в Венеции — стекольщиков и оптиков. Посол в Праге — алхимиков, понимающих толк в металлах. Посол в Гамбурге — механиков и строителей каналов.

Круг требований был широк. Тимофеев составил перечень — тридцать семь специальностей, от «рудознатцев» (геологов) до «машинных измыслителей» (инженеров-конструкторов). В перечень попали даже гравёры и печатники — потому что для развития промышленности, как понимал Иона, нужно было не только уметь делать, но и уметь распространять знание о сделанном.

— Ты хочешь вербовать даже книжников? — удивился Годунов, читая перечень.

— Книжники, государь, — это оружие дальнего боя. Написанное слово убивает невежество за тысячу вёрст от пишущего. Если мы хотим, чтобы русские мастера когда-нибудь сравнялись с европейскими, им нужно читать европейские книги. А для этого нужны те, кто эти книги переведёт и напечатает.

— Ты предлагаешь открыть печатню?

— Я предлагаю открыть университет, — тихо сказал Иона. — Но печатня — хорошее начало.

7. Принцип конкуренции: почему мастера соглашались

Европа 1600 года была перенаселена умными людьми. Это звучит парадоксально — принято считать, что умных людей всегда не хватает. Но штука в том, что ум без приложения — это бремя. Это — томительное ощущение собственной ненужности, которое гонит человека с места на место в поисках того, кто оценит.

Цеховая система душила новшества. Если ты придумал новый сплав — цех мог запретить его использование, потому что старый сплав был освящён обычаем. Если ты изобрёл новый

станок — цеховые старшины могли сломать его, потому что он уменьшал потребность в ручном труде и, значит, лишал работы старых мастеров.

Церковь относилась к механике с подозрением. Часы, насосы, подъёмники, ветряные мельницы — не колдовство ли это? Не пытается ли человек, строящий машины, уподобиться Творцу? В католических странах (Испания, Италия, часть германских земель) за одно неосторожное слово о «самодвижущихся механизмах» можно было угодить под суд инквизиции.

Дворы интриговали. Сегодня ты в фаворе и строишь фонтаны для короля. Завтра твой покровитель пал, и ты сидишь в долговой яме, потому что новый фаворит привёл своего мастера, а старый никому не нужен.

Железный приказ предлагал выход из этой ловушки. Не золотые горы — но стабильность. Не свободу — но защиту. Не славу — но уважение. Этого оказалось достаточно.

Через десять лет после учреждения приказа в Россию переехали, по архивным данным, около двухсот европейских мастеров с семьями и подмастерьями. Отсев составил примерно четверть: кто-то не прижился, кто-то сбежал, кто-то умер от болезней. Полторы сотни остались. И эти полторы сотни изменили технологический облик страны.

Среди них были:

— Корнелис де Вааль, голландский гидротехник, строитель системы шлюзов на Каме. Благодаря ему руда от уральских месторождений шла вниз по течению не три месяца (с волоками и перегрузками), а три недели.

— Грегуар Бонне, французский металлург-экспериментатор, одержимый идеей получить сталь безковки — прямым литьём. При жизни не успел, но его записи через полвека легли в основу русского тигельного литья.

— Якоб ван дер Меер, фламандский оптик, ученик Пьетро Сальвиати. Построил в Москве первую шлифовальную мастерскую, где точили линзы для подзорных труб и микроскопов — за полвека до того, как микроскоп вошёл в европейский научный обиход.

— Мария ди Санти, итальянка из Падуи, алхимик и фармацевт. Женщина-мастер в те времена была редкостью почти невозможной. В Италии её бы сожгли. В Москве она получила лабораторию и за десять лет разработала три новых состава для обработки руды.

Каждый из этих людей был авантюристом в душе — кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Каждый рисковал, переезжая в чужую, холодную, малопонятную страну. Каждый получал за свой риск награду, которую не мог получить дома: свободу работать.

8. Видение второе: плавильный цех, 1934

Огромное помещение, похожее на ангар. Свет — резкий, электрический — заливают ряды станков. Станки гудят, вибрируют, пахнут горячим маслом и металлом. Рабочие в синих робах движутся вдоль конвейера — методично, слаженно, как части одной машины.

На стене — лозунг: «Пятилетку — в четыре года!»

Мастер цеха, пожилой мужчина с седыми усами и усталым взглядом, проверяет показания приборов. Он знает, что план завышен, нормы нереальны, люди работают на износ. Но он знает и другое: если план не выполнить — его снимут, посадят, может быть, расстреляют. Поэтому он выжимает из цеха всё, что можно. И немного сверх того.

В углу цеха — молодой инженер, почти мальчик, лет двадцати трёх. Он смотрит на датчики температуры в плавильной печи и хмурится. Температура слишком высока, футеровка может не выдержать. Он идёт к мастеру, докладывает. Мастер отмахивается: «План, парень. План».

Через час печь прогорает. Расплавленный металл выливается на пол. Пятеро рабочих погибают — мгновенно, без мучений, просто исчезают в белой вспышке. Инженера арестовывают за «вредительство».

И снова — голос Ионы: «Не потому, что техника плоха. А потому, что цена человека — ноль».

Это видение приходило к Тимофееву уже не в первый раз. Оно было частью того же мрачного потока картин, что обрушился на него после подписания указа. Будущее, в котором технологии развиваются — но развиваются бесчеловечно. Будущее, в котором заводы строятся на костях. Его задача, как он начал понимать, — не просто создать заводы. Его задача — создать их так, чтобы этого будущего не случилось.

9. Параграф пятый: о вольных людях

Самый, пожалуй, революционный пункт указа. Самый неожиданный для московской традиции.

Крепостное право в 1600 году ещё не было всеобъемлющим. Оно только формировалось. Заповедные лета (запрет на уход крестьян) ввели при Иване Грозном. Урочные лета (срок сыска беглых) установили ещё раньше. Но окончательное закрепощение было впереди. Пока что значительная часть населения — черносошные крестьяне Севера, сибирские переселенцы, вольные люди на новых землях — оставалась лично свободной.

Именно из них Иона предлагал набирать рабочую силу для уральских заводов.

— Крепостной работает из-под палки, — объяснял он Годунову. — Он не заинтересован в результате. Он саботирует при первой возможности. Он туп, зол и ленив — не потому, что он плох от природы, а потому, что его положение не оставляет ему другого выбора. Вольный работник — другое дело. У него есть договор. Есть плата. Есть перспектива — выслужиться в мастера или даже в приказчики. Он работает лучше просто потому, что ему выгодно работать лучше.

— А где взять вольных для Урала? Там нет населения.

— Есть. И будет больше. Мы дадим подъёмные — десять рублей на семью. Землю под пашню. Освобождение от податей на пять лет. Люди пойдут.

И люди пошли. Медленно, со скрипом, но пошли. Первые партии вольных переселенцев отправились на Каму весной 1602 года — двести семей, в основном из поморских земель, привычных к холодам и тяжёлой работе. Они плыли на плотах и стругах, везли с собой скот, зерно, инструмент. Добирались два месяца. По дороге теряли людей — кого лихорадка, кого несчастный случай, кого зверь. Но дошли.

Через год они поставили избы. Ещё через год — распахали землю. А ещё через год их сыновья пошли работать на завод — не по принуждению, а по найму, за плату в рубль с полтиной в месяц (столько в Москве получал подмастерье в хорошей кузнице).

К 1607 году на Урале из трёх тысяч заводских рабочих примерно две с половиной были вольными наёмниками и лишь пятьсот — ссыльными и кабальными. Для Европы того времени это было неслыханное соотношение.

10. Ведомственная революция: из чего состоял Железный приказ

Структура приказа сложилась не сразу. Первый год ушёл на то, чтобы понять, чем, собственно, ведать.

К концу 1601 года определились четыре стола — так в московской приказной системе назывались отделы:

Стол горный. Ведал разведкой и учётом рудных месторождений. Составлял карты, куда наносились известные выходы железа, меди, серебра. Снаряжал экспедиции в Сибирь. Оценивал качество руды. В 1602 году в штате стола числились тринадцать человек — семь дьяков и подьячих, четыре «рудознатца»-немца и два чертёжника.

Стол заводской. Ведал строительством и содержанием заводов. Заказывал оборудование — водяные колёса, мехи, молоты, горны. Нанимал подрядчиков. Принимал готовую продукцию. В 1602 году — девять человек.

Стол иноземный. Вербовал и обустривал европейских мастеров. Вёл переписку с послами за границей. Оформлял грамоты на въезд. Выплачивал жалованье. Этот стол был самым чувствительным — через него шли деньги на вербовку, и от его работы зависел весь проект. В 1602 году — шесть человек, но с каждым годом штат рос.

Стол машинный. Занимался изобретениями. Содержал Машинный двор на Неглинной. Вёл журнал опытов — прообраз будущих лабораторных журналов. Собирал чертежи и модели механизмов. В 1602 году — всего три человека, включая Иону (который нигде не числился, но фактически руководил именно этим столом).

Общий штат на момент создания — тридцать один человек. Через пять лет — сто сорок. Ещё через десять — около трёхсот. Железный приказ стал третьим по размеру ведомством московской короны (после Посольского и Разрядного).

Но значение его было больше, чем размер. Впервые в русской истории возникло государственное учреждение, чьей единственной целью было технологическое развитие. Не война, не сбор податей, не дипломатия — а именно развитие. Это была ведомственная революция.

11. 20 тысяч рублей: сколько и на что

Главный вопрос, который задавали Годунову — и в Думе, и в домашних покоях, — был один: почему так дорого?

Ответ содержался в смете, которую Тимофеев и Иона составили вместе:

Разовые расходы (первый год):

- Строительство первого завода на Каме — 5 000 рублей.
- Обустройство Машинного двора на Неглинной — 2 500 рублей.
- Подъёмные для первой партии мастеров (вербовка, переезд, жильё) — 4 000 рублей.
- Подъёмные для переселенцев — 1 500 рублей.
- Геологические экспедиции на Урал — 1 000 рублей.
- Инструмент, книги, чертежи — 1 000 рублей.
- Резерв и непредвиденные расходы — 5 000 рублей.

Годовые расходы (начиная со второго года):

- Содержание заводов — 3 000 рублей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.